

Не могу молчать

I

«Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе».

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывающие казни, казни, казни.

Беру нынешнюю газету.

Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде».[19]

Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, — двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек, с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли.

И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту

еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности.

Всё это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодеяния так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презируемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании.

Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.

Ведь это ужасно!

И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это, не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела.

И делается не только это ужасное дело, но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилия по тюрьмам, крепостям, каторгам.

Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьи до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими.

Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь, — это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное «я», лишает его его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают всё это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей, от судьи до палача, подкупам, угрозами, обманами совершать эти дела, наверное лишаящие их их истинного блага.

И в то время как всё это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, — главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела — дела полезные и даже необходимые, — или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в «армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротники доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом».

Да, это ужасно!

II

Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь.

И распространяется это развращение с необычайной быстротой.

Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет попрежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

«Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно».

Не знаю, принято ли было, или нет предложение, но знаю, что предложение было.

Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, — большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкие дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительства, убийства считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку.

Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее.

III

Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок.

Вы водворяете спокойствие и порядок!

Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство и — последнее самое ужасное преступление,

самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемые вами законами.

Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь.

Ведь это слишком ясно.

Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а всё дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, — так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но всё огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, — от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете.

Так что всё, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — всё это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.

«Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодеяния, которые совершаются?»

Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете.

Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить «народ» — весь народ (многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа: нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад освобождение от крепостного права), если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа наверное не нужно делать того, что только

увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете.

То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом.

Но сколько вы ни говорите о том, что всё, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди всё больше и больше понимают вас и всё больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения всё больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели: как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев.

IV

Вы говорите: «Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодеяния революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодеяния), твердыми мерами правительства».

Вы говорите, что совершаемые революционерами злодеяния ужасны.

Я не спору и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами.

Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же (я бы сказал комическим, если бы последствия его не были так ужасны) заблуждением, что одни люди, составив себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. Одинаково заблуждение, одинаковы и средства достижения воображаемой цели. Средства эти — насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным, и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть, и которое хотим устроить.

Вы, правительственные люди, называете дела революционеров злодеяниями и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали, и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам-то уж никак нельзя упрекать

революционеров. Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными, — они делают то же. Всё, что вы только можете привести в свое оправдание, они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое.

Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас.

Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы всё оставалось, как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться попрежнему, они были бы правее вас, если бы у них не было того же, взятого от вас, странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насилием. Во всем же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики, они, как говорится, все ваши капельки подобрали, они не только ваши ученики, они — ваше произведение, они ваши дети. Не будь вас — не было бы их, так что, когда вы силою хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий всюю силою на дверь, отворяющуюся на него.

Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодеяния совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве — совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же — большею частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае несовместимое с совершаемыми вами делами.

И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бранят за то, что они дерутся: «Не мы начали, а они», и лучше этого ничего не умеете, не можете сказать вы, люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата,

который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегдашнего прощения, сколько бы раз ни повторилось преступление, который велел ударившему в одну щеку подставлять другую, а не воздавать злом за зло, который так просто, так ясно показал рассказом о приговоренной к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других, вы — люди, признающие этого учителя богом, ничего другого не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что «они начали, они убивают — давайте и мы будем убивать их».

V

Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-девочка выдала его.

Она сказала: «батя на чердаке». Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для «натуры», для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго выпытывал художника, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего.

Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, — дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно.

И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, — людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову.

VI

Знаю я, что все люди — люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.

А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений.

Ведь всё, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то всё это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого — пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цынги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городские, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга.

И как ни странно утверждение о том, что всё это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращенные люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, я все-таки не могу не чувствовать, что сейчас мое спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством.

А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.

Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю.

VII

И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей-братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений.

Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы.

Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди. Нынче выглянули на свет божий, завтра вас не будет. (Вам-то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшему на этот один короткий миг на свет божий — ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, — неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми, и лгать перед собою, перед людьми и перед богом, уверяя себя и людей, что, принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов? Неужели вы сами не знаете, — когда не опьянены обстановкой, лестью и привычными софизмами, — что всё это — слова, придуманные только для того, чтобы, делая самые дурные дела, можно было бы считать себя хорошим человеком? Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела, — то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям.

Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей — это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь — это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну божью и потому брату.

Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто.

Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят — и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей.

Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте — не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас.

31 мая 1908 г.

Ясная Поляна.

Сноски

19. В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке: как тому, что задавлено на восемь человек меньше, чем было в первом известии, так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня, и потому только, заменяя слово двадцать, словом двенадцать, оставляю без перемены всё то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленным людям.

Комментарий И.Петровицкой

Знаменитый манифест Толстого-публициста.

После прочтения в газете «Русь» сообщения о смертных казнях, Толстой был взволнован, потрясен, не говорил, а кричал обессилевшим голосом: «Это ужасно!».

Особенно потрясло его сообщение о повешении двадцати крестьян, которое он прочел 10 мая в газете «Русские ведомости» (1908, № 107 от 9 мая) и которое было опубликовано в тот же день в «Руси». Толстой продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней. Нынче 5, завтра 7, нынче 20 мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжают разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть». Толстой от волнения не мог дальше говорить; а 12 мая записал в Дневнике: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20 повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать».

Чтение в журнале «Былое» 1906-1908 гг. статей о казнях революционеров, статей В. Владимиров в «Руси» о карательной экспедиции Семеновского полка на Московско-Казанской железной дороге в декабре 1905 г. (хотя изложение в этих публикациях не понравились: «Такие ужасные факты излагает со своими эпитетами, пояснениями, выводами

<...> Они только ослабляют впечатление. Надо читателю самому предоставить делать эти выводы»).

13 мая Толстой в резком, страстном тоне набросал статью, впоследствии названную «Не могу молчать». «Это (смертные казни) так мучает меня, что я не могу быть спокоен, пока не выскажу всех тех чувств, которые во мне это вызывает».

В первом наброске статьи были названы имена многих политиков: Милюкова, Гучкова, Щегловитова, Столыпина, Николая Романова и др.

В Дневнике 14 мая Толстой отметил: «Написал обращение, обличение – не знаю что – о казнях <...> Кажется, то, что нужно». И признавался: «Мне прямо хочется ее поскорее напечатать <...> Там будь что будет, а я свое исполнил». Отсылая статью В. Г. Черткову для издания, писатель торопил: «Издавайте скорей».

Статья в отрывках впервые была напечатана 4 июля 1908 г. в газетах «Русские ведомости», «Слово», «Речь», «Современное слово» и др., за что все они были оштрафованы. Севастопольский издатель, расклеивший по городу номер своей газеты с отрывками из «Не могу молчать», был арестован.

Вышла отдельной брошюрой в Петербурге в переводе на латышский язык; полностью была напечатана в нелегальной типографии в Туле; в том же 1908 г. издана И. П. Ладыжниковым с предисловием: «Печатаемое нами новое произведение Льва Николаевича Толстого опубликовано одновременно в газетах почти всех цивилизованных стран 15-го июля 1908 г. и произвело глубокое впечатление, несмотря на отрицательное отношение автора к русскому освободительному движению. Как интересный исторический и характерный для великого писателя документ, мы предлагаем это произведение русскому читателю». В России статья распространялась преимущественно в отрывках в легальной прессе, полностью – в гектографированных и рукописных списках и в подпольных изданиях.

В газете «Слово» 10 июля 1908 г. было опубликовано письмо И. Е. Репина: «Лев Толстой в своей статье о смертной казни <...> высказал то, что у всех нас, русских, накопело на душе и что мы по малодушию или неумению не высказали до сих пор. Прав Лев Толстой – лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину, и этим молчанием как бы сочувствовать им. Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души. Прошу редакцию присоединить мое имя к этому списку». И в печати всего мира появились многочисленные отклики на манифест Толстого-публициста.

В. Г. Короленко писал: «В ту минуту, когда я пишу эти строки, весь образованный мир читает опять одну из “общеизвестных истин” в освещении Толстого: его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять потрясают людские сердца».

Одновременно манифест Толстого появился в газетах всего мира цивилизованных стран.

Но статья вызвала и резко враждебные отзывы: 60 сочувственных и 21 «ругательное» письмо (Архив Толстого). В Ясную Поляну пришла и страшная посылка – с веревкой и письмом-пожеланием: «Не утруждая правительство, можете сделать сами»*.

ПСС, т. 37, с. 83–96.

- Лев Толстой. Дневники. Записные книжки. Статьи. 1908 г. Предисловие И. В. Петровицкой. – М.: ВК, 2009.

Версия #1

Зверобой создал 29 марта 2025 11:47:28

Зверобой обновил 29 марта 2025 11:50:58